

Владимир Максимов

Журнальный вариант

Человек он был сложный, но внушающий доверие, располагающий к себе. В нём бросалось в глаза чрезвычайно выраженное мужское начало. Он имел довольно резкий характер, с известными недостатками. Он страдал запоями, которые шокировали окружающих, кто видел его в таком состоянии. Но у него было прекрасное чутьё, прекрасное понимание эпохи, которую он переживал.

Евгений Романов

*Куролесит в небе месяц
По-над всей Европою.
Если вдруг Максимов весел —
Приступ у Андропова.*

Вадим Делоне

Лев, но не граф

Литератор Владимир Максимов примкнул к советскому диссидентскому движению на рубеже 1960–1970-х годов. Это событие, как принято выражаться в подобных случаях, вызвало в данной среде чувства весьма неоднозначные. К тому имелись соответствующие основания.

У многих, кому привелось близко знать Максимова в доэмигрантский период его жизни, при общении с этим человеком часто возникало ощущение, что он живёт не свою жизнь. Ощущение это имело под собой фактическую основу. Поскольку Владимир Емельянович Максимов в действительности не был ни Владимиром, ни Емельяновичем, ни тем более Максимовым. Имя, полученное им после рождения, было — Лев, отчество — Алексеевич, фамилия — Самсонов. При этом «царское» имя Лев он получил вовсе не по причине того, что его отец, московский пролетарий Алексей Самсонов, был страстным поклонником творчества графа Толстого, автора «Севастопольских рассказов» и романа «Анна Каренина». Отнюдь нет — убеждённый коммунист Самсонов назвал единственного сына в честь своего кумира — организатора и вдохновителя большевистского переворота 1917 года Льва Троцкого. Чего ни от кого из знакомых не скрывал. Однако если учесть, что произошло это не в начале 1920-х годов, когда его кумир пребывал в зените своего могущества, а в конце года 1930-го, когда привелось появиться на свет его сыну, следует признать, что поступок Алексея Самсонова уже вполне тянул на обвинение в антисоветской агитации и пропаганде. Но поскольку времена в ту пору были ещё вполне вегетарианские, арестовали рабочего-кладовщика с химического завода Самсонова только через три года — в 1933-м. Потом выпустили. Потом снова посадили. И снова выпустили. Наконец, Алексей Самсонов был арестован в третий — и, как казалось его родным, на сей раз уже последний — раз. Однако судьба оказалась к недобитому троцкисту Самсонову неимоверно милостива. Несмотря на то, что на дворе был незабываемый 1937-й, его не только не расстреляли, но и не отправили в ГУЛАГ, а, продержав около трёх лет в тюрьме, освободили во время так называемой «бериевской весны в НКВД» — по состоянию здоровья. Впрочем, на свободе бывшему заключённому Самсонову привелось пробыть недолго: в 1941 году он отправился добровольцем на фронт, где почти сразу же пропал без вести.

Его сын Лев, которому в тот момент шёл одиннадцатый год, с самого юного возраста был ребёнком упрямым, агрессивным и донельзя своевольным. Мать, Федосья Самсонова, полуграмотная крестьянка, справиться с ним не могла, поскольку авторитетом для сына не являлась. Как следствие, пользуясь сначала отсутствием в доме отца, сидевшего в тюрьме, а затем так называемым «военным лихолетьем», Лёва, что называется, отбил от рук, съехал с катушек и покатился по наклонной плоскости. В 1943 году, бросив школу, он отправился в бродяжничество по стране и вскоре угодил в криминальную среду, где сразу же усвоил её главную заповедь: «Хочешь жить — умей бить первым». Не однажды эта установка

спасала ему жизнь в тех местах, куда Лёве привелось попасть: воровские хазы и малины, детприёмники и колонии для малолетних уголовников, откуда он раз за разом пытался бежать и где был избиваем за это вертухаями до полусмерти, и психбольницы, куда из лагерных бараков переводили тех, кого администрация, отчаявшись сломать и растоптать их личность, объявляла «невменяемыми». От рождения хилый, тщедушный и малорослый, Самсонов обладал совершенно сверхъестественной энергетикой и поистине звериным чутьём, позволявшим ему безошибочно определять сущность окружающих его людей и ощущать приближение опасности задолго до того, как она материализовывалась рядом с ним. Несомненно, вследствие наличия этих качеств он и смог выжить в том аду, в который превратилась его юная жизнь. Там же, во время казавшихся бесконечными скитаний по колониям и психушкам, он потерял и своё подлинное имя, превратившись из Льва Алексеевича Самсонова во Владимира Емельяновича Максимова. Одновременно с новым именем изменились и прочие установочные данные: дата рождения передвинулась на два года вперёд — с 27 ноября 1930-го на 9 декабря 1932-го, а место — с Москвы на Ленинград.

Путёвка в жизнь

Перемена имени и прочих паспортных данных необъяснимым образом изменила и всю дальнейшую судьбу этого человека. В 1949 году, освободившись по «активровке», то есть вследствие признания «психически невменяемым», имея на руках «чистые» документы, он решил больше за решётку не попадать. В течение нескольких последующих лет новоиспечённый Максимов колесил по бескрайним просторам Советского Союза, медленно перемещаясь с севера на юг — из Заполярья на Кубань. Во время этого перемещения он перепробовал множество профессий — от каменщика на стройке и подсобного рабочего в геологической экспедиции на Таймыре до заведующего клубом моряков в приполярном городке Игарка и сцепщика вагонов на железной дороге. В итоге оказался в 1954 году в Черкесске, столице Карачаево-Черкессии, в должности сотрудника редакции местной газетки «Советская Черкессия».

Перебиваясь газетной подёнщиной, Максимов попытался стать литератором. Начал, как это чаще всего и бывает, со стихов. Заручившись покровительством местного партийного начальства, оценившего сметливого и расторопного репортёра, сумел пробить в республиканском издательстве первую свою книгу — поэтический сборник с романтическим названием «Поколение на часах». Стишки принадлежали к разряду тех, что при цитировании посторонними в присутствии автора энное количество лет спустя обладали способностью мгновенно вгонять того в краску — от осознания того, что у него нет возможности скупить и сжечь весь тираж, а заодно выкрасть и также уничтожить копии этой книги из библиотек.

Получив таким сомнительным образом «путёвку в писательскую жизнь», Максимов после длительного отсутствия вернулся в Москву и принялся устанавливать нужные связи и знакомства, то есть оббивать пороги редакций столичных

журналов. Однако в тогдашних московских литературных сферах он был — никто, ничто и звать никак, поэтому его или без разговоров отовсюду гнали, или, разговаривая, смотрели как на пустое место. Единственным из писателей, кто пытался подействовать Максиму с публикациями, был Юрий Домбровский, но его собственные возможности — старого лагерника, от которого благополучные совписы шарахались как от прокажённого, — были ничтожны. Столкнувшись с бессердечной окололитературной бюрократией, Максимов затаил злобу и перешёл с поэзии на прозу.

Удача ему всё же улыбнулась. Это произошло в 1961 году, когда в изданном в Калуге литературном альманахе «Тарусские страницы» была помещена повесть Максимова «Мы обживаем землю», одобренная к печати одним из редакторов-составителей сборника Константином Паустовским. Выход «Тарусских страниц», совпавший с завершением проходившего в Москве XXII съезда коммунистической партии, ознаменовался крупным скандалом. Как только в Кремле стало известно, что по недосмотру местного обкомовского начальства включённые в альманах произведения не прошли предварительную цензуру на уровне московского Главлита, факт выпуска этого издания был расценен как грубая идеологическая ошибка. И несмотря на то, что в «Тарусских страницах» не было ровным счётом ничего «этакого» (читай: «антисоветского»), печатание второго завода его 75-тысячного тиража было немедленно запрещено, а копии первого, составившего 31 000, уже поступившие в библиотечные фонды, было приказано изъять из свободного доступа и перевести в спецхраны. Следствием столь болезненной реакции начальства стало то, что в интеллигентских кругах альманах «Тарусские страницы» мгновенно получил статус запрещённого издания, а принявшие в нём участие литераторы — Борис Балтер, Юрий Казаков, Владимир Корнилов, Наум Коржавин и другие — приобрели ореол «фрондёров» и «вольнодумцев».

Воспользовавшись ситуацией, Максимов попытался прилепиться к «либеральному литературному лагерю». Однако когда он принёс в редакцию журнала «Новый мир» ранее написанную повесть «Жив человек» — натуралистическое описание смерти на больничной койке беглого уголовника, бывшего жертвой бессердечного отношения к униженным и оскорблённым советского режима, — она была отвергнута Александром Твардовским, что называется, с порога. При этом главный редактор «Нового мира» отозвался весьма пренебрежительно как о самом этом сочинении, так и о его авторе, что исключало самую возможность появления максимовских опусов на страницах возглавляемого им журнала. Что именно стало тому причиной, с уверенностью сказать сложно. По утверждению писателя Георгия Владимова, Твардовский не принял писаний Максимова потому, что посчитал его «ухудшенным Горьким»; эпигонов же автор «Страны Муравии» и «Василия Тёркина» не жаловал. Вполне вероятно, что раздражение у Твардовского вызвали и максимовские манеры, бывшие следствием его криминальной юности — нагловатость, стремление обращаться к собеседнику без имени, во множественном числе и с непременно издевательски звучащим



Владимир Максимов

в советской действительности словечком «господа»; особенно же — самая манера разговора, так бесившая всех, имевших сомнительное удовольствие общаться с этим человеком.

Дело было в том, что, разговаривая с собеседником, Максимов избегал смотреть ему в глаза, глядел же при этом сквозь него и говорил так, словно беседует с кем-то невидимым, находящимся у того за спиной. Получалось, что он говорит или со стеной комнаты, или с ведущей в коридор дверью, на которой (или за которой) и находится некто, к кому обращены его слова; при этом подлинного собеседника он, как говорится, не видел и в упор, делая вид, что кроме него самого, Максимова, в помещении никого нет. Эта максимовская манера была точно подмечена и через много лет блестяще описана Владимиром Войновичем, который был хорошо с ним знаком и имел возможность наблюдать будущего главного редактора журнала «Континент» крупным планом и во всех многообразных проявлениях его кипучей натуры.

Получив отлуп в «Новом мире», Максимов отнёс повесть в редакцию журнала «Юность». Там его встретили гораздо приветливее, наговорили комплиментов, но, продержав рукопись в «редакционном портфеле» длительное время, публиковать не стали. Точно такая же ситуация произошла и в журнале «Москва». Тогда донельзя обозлённый Максимов отправился в место, к которому ни один представитель «либерального лагеря», дороживший своей репутацией, не рисковал приближаться и на пушечный выстрел, — в редакцию журнала «Октябрь».

«Писатель со справкой»

По тогдашней неписаной литературной «табели о рангах» журнал «Октябрь» находился на крайнем правом фланге советской литературы. Используя моряцкий жаргон, можно сказать, что репутация у этого печатного органа была ниже ватерлинии. Главным редактором «Октября» был писатель Всеволод Кочетов — человек, чья фамилия в либеральной среде являлась жупелом, использовавшимся в качестве синонима терминов «мракобес», «ретроград», «сталинист» и «антисемит». В таком отношении не было ни малейшего перехлёста, тем паче инсинуации, поскольку Кочетов, автор бездарных графоманских сочинений «Братья Ершовы», «Секретарь обкома» и множества других, был именно что — мракобес, ретроград, сталинист и антисемит. Причём самый что ни на есть зоологический. В возглавляемом им журнале публиковалась по большей части всевозможная графоманская чепуха, не имеющая никакого отношения к литературе, но полностью соответствующая канону пресловутого «социалистического реализма». Канону, согласно которому советские писатели обязаны изображать окружающую действительность не такой, какой она на самом деле является, но такой, какой предстаёт в свете последних директив и постановлений Центрального комитета КПСС и партийных съездов.

Разумеется, направляясь на приём к Кочетову, Максимов обо всём этом прекрасно знал. Но у него не было выбора — ему шёл уже тридцать второй год, и для того чтобы пролезть в писатели, он был готов на любые унижения.

Реальность превзошла самые смелые его ожидания. Кочетов не только принял Максимова с распростёртыми объятиями, не только поставил его повесть в ближайший номер своего журнала, но и распорядился выписать начинающему писателю крупный аванс — что для пребывающего в хронической нищете Максимова в тот момент было важнее всего.

Вскоре, однако, Максиму пришлось убедиться в том, что поговорку про бесплатный сыр никто не отменял. Кочетовские денежки пришлось отработать. Когда весной 1963 года в Советском Союзе была развёрнута массивная идеологическая кампания травли и шельмования литераторов, уклоняющихся от канона соцреализма и якобы пытающихся протасить в советскую литературу чуждые народу «буржуазные веяния»; когда Никита Хрущёв бесновался и, потрясая кулаками, орал в Кремле на поэта Андрея Вознесенского и беллетриста Василия Аксёнова, — Кочетов предложил своему протеже подписать коллективное письмо с одобрением «генеральной линии» партии в отношении распоясавшихся либералов. Максимов хорошо понимал, к каким последствиям для него может привести появление его подписи под таким письмом. Понимал он также и то, что данное предложение принадлежит к разряду тех, от которых без иных последствий отказаться практически невозможно.

Последствия оказались именно такими, каких и следовало ожидать. После появления подписи Максимова под кочетовским пасквилем отношение к нему

в «либеральном лагере» стало явно враждебным и — что нервировало его сильнее всего — откровенно пренебрежительным. Отныне его фамилию там если и упоминали, то исключительно в издевательской форме — в общем перечне, через запятую и в самом конце — примерно так: «Кочетов, Иванов, Петров, Сидоров и какой-то Максимов». Это вызывало явную аллюзию со ставшим притчей во языцех «и примкнувшим к ним Шепиловым».

Плата за конформизм также оказалась высокой. Кочетов предоставил Максиму в своём журнале «зелёную улицу» — отныне в «Октябре» публиковалось всё, что Максимов приносил в редакцию. В течение последующих четырёх лет там были опубликовано несколько его сочинений: пьеса «Позывные твоих параллелей» (1964), рассказ «Искушение» (1964), повесть «Стань за черту» (1967) и другие. Наконец — как свидетельство высшего благоволения — в октябре 1967 года Кочетов ввёл Максимова в состав редакционной коллегии своего журнала.

Также произведения Максимова стали издаваться в виде книг. В 1964 году московское издательство «Молодая гвардия» выпустило его первую книгу — «Жив человек», в которую вошли обе к тому времени опубликованные повести; в следующем году книга с таким же названием вышла в Магадане (в ней к двум повестям были добавлены три рассказа — «Искушение», «Сашка» и «Дуся и нас пятеро»). В 1966 году московское издательство «Правда» в серии «Библиотека журнала “Огонёк”» выпустило сборник рассказов Максимова «Шаги к горизонту», в 1967-м расширенный вариант сборника под тем же названием был издан «Советским писателем».

Но всё это было не главное. Главное — было то, что Владимир Максимов наконец был принят в члены Союза советских писателей. Произошло это знаменательное событие 9 декабря 1963 года — в официальный день его рождения, причём на момент принятия у новоявленного совписа Максимова не имелось ни единой изданной книги — макет первой, молодогвардейской, ещё только готовился к отправке в типографию. Тем не менее, проигнорировав важнейшие положения Устава СП СССР, приёмная комиссия проголосовала «за» — и тридцатитрёхлетний Владимир Максимов превратился в «писателя со справкой».

Казалось, тучка под названием «жизнь» наконец-то повернулась к человеку с трудной судьбой своей светлой изнанкой. Но нет — добившись с таким трудом того, к чему он стремился, Максимов ни малейшего удовлетворения не ощущал. Прекрасно зная цену своим литературным способностям и не испытывая на сей счёт никаких иллюзий, он понимал, что отныне до конца жизни будет пребывать в статусе второразрядного советского писателя, «ухудшенной копии Максима Горького», как считал Александр Твардовский, и «кочетовского прихлебателя», как его именовали за глаза ненавистные либералы. Между тем он был абсолютно убеждён, что достоин много большего, а съедающее его душу злое честолюбие понуждало Максимова действовать в целях приобретения славы — если и не всемирной, то уж, во всяком случае, всесоюзной. Для реализации этого замысла оставалось всего ничего — найти подходящий алгоритм и проявить соответству-

ющие качества — расторопность и энергию. А ни того ни другого Максимова было не занимать. И он терпеливо ждал, когда ситуация сложится благоприятным для этого образом. Сидя, разумеется, не сложа на животе руки, но за письменным столом — сочиняя своё первое «программное» произведение — роман под названием «Семь дней творения».

Предупреждение без занесения

Между тем социально-политическая обстановка в Советском Союзе начала постепенно меняться. После того как в сентябре 1965 года в Москве были арестованы литераторы Андрей Синявский и Юлий Даниэль, чья вина, с точки зрения советского режима, состояла в том, что они имели наглость сочинять «антисоветские» пасквили и публиковать их за пределами СССР, прикрывшись в целях конспирации псевдонимами, — в стране возникло диссидентское движение. Диссиденты, в число коих изначально вошли почти сплошь представители антисоветски настроенной части интеллектуальной элиты, в основном люди творческих профессий, стали требовать от главарей тоталитарного режима нечто невообразимое — чтобы те соблюдали ими же придуманную конституцию. В которой ясно сказано о свободе слова, собраний, отсутствии цензуры и прочих несусветных вещах. Тот факт, что эта конституция была написана вовсе не для советских подданных, которых режим всегда рассматривал исключительно как своих рабов, а для американских негров — чтобы те могли понять, как хорошо живётся их белым товарищам по несчастью по ту сторону Атлантического океана, — диссидентов не смущал. Неграм они, разумеется, сочувствовали, но считали, что проблемы с нарушениями их гражданских прав должны решаться правительством США, а вопросы отсутствия основных прав и свобод человека в СССР следует исправлять внутри этого государства и собственными силами — посредством формирования гражданского общества.

Советский режим, совершенно не готовый к появлению внутренней оппозиции, ответил на требования диссидентов единственно для себя возможным образом — репрессиями. Как следствие, численность политических заключённых, число которых к концу правления Никиты Хрущёва составляло не более пяти-шести тысяч человек, после воцарения в Кремле Леонида Брежнева начала расти — сначала медленно, затем всё быстрее и быстрее.

История советского диссидентского движения, продолжавшегося ровно 26 лет — с 5 декабря 1965 года, когда в Москве состоялась первая демонстрация с требованием к властям соблюдать собственную конституцию, и до 25 декабря 1991 года, когда Союз Советских Социалистических Республик сыграл в ящик, став объектом всемирной истории, — как и всякая иная история, делится на несколько периодов. В течение первого, хронологически объединившего первые десять лет его существования, было несколько знаковых событий, воздействовавших на его развитие. Одним из важнейших стал судебный процесс, состоявшийся

в Москве в начале января 1968 года и вошедший в его историю под названием «Процесс четырёх» или «Дело Галанскова — Гинзбурга».

Единственной «виной» подсудимых было то, что они принимали активное участие в выпуске самиздата и имели намерение — не подкреплённое конкретными действиями — создать нелегальную типографию для его размножения. Суд проходил в закрытом от публики режиме и с грубейшими нарушениями принятых в советском Уголовно-процессуальном кодексе норм судопроизводства. Подсудимые были лишены права на объективное разбирательство предъявленных им обвинений; показания свидетелей со стороны защиты полностью игнорировались, так же как и аргументы адвокатов. По приговору, вынесенному 12 января 1968 года заместителем председателя Московского городского суда Мироновым, Юрий Галансков получил 7 лет политлагерей строгого режима, Александр Гинзбург — 5 лет. Сочувствующая диссидентскому движению машинистка Вера Лашкова была осуждена на один год заключения, который она к тому моменту уже почти полностью отбыла в Лефортовской тюрьме под следствием.

Приговор московским самиздатчикам вызвал бурю негодования в интеллектуальной среде. Стихийно возникла так называемая «подписантская кампания», участники которой писали сами личные или подписывали уже написанные коллективные письма с протестом против этой расправы и направляли их в различные советские учреждения — от редакций центральных газет вроде «Правды» и «Известий» до Кремля — персонально Леониду Брежневу или формальному главе СССР Николаю Подгорному. В числе подписантов были самые разные люди, представляющие весь спектр советского общества — от рабочих и инженеров до журналистов и академиков. Не остались в стороне и писатели. Среди подписантов из их числа преобладали, разумеется, представители «либерального лагеря». Но не только. Под одним из писем протеста вдруг обнаружилась и подпись Владимира Максимова. Исходя из имевшейся у него к тому времени репутации, это было странно, но это был факт. Либералы — люди по натуре недоверчивые, поэтому радоваться от осознания того, что «нашего полку прибыло», не торопились. Тем не менее, как показало дальнейшее развитие событий, поступок Максимова не был случайным — это был первый сделанный им шаг в игре, в которой он намеревался реализовать свои до той поры тщательно скрываемые амбиции.

Реакция режима на «подписантскую кампанию» оказалась вполне предсказуемой — в стране началось стремительное «завинчивание гаек». Подписантов «прорабатывали» на собраниях трудовых коллективов по месту службы, состоявших в компартии лишали партбилетов, не желавших каяться и отказывавшихся от подписи — изгоняли с работы и лишали средств к существованию. Тех, кто, не сумев противостоять психологическому давлению и шантажу, проявлял слабость и начинал каяться, милостиво прощали, но ни о каких карьерных перспективах отныне они не могли даже и мечтать.

В Союзе писателей погромная кампания развернулась в мае 1968 года. Сначала литераторов-подписантов вызывали поодиночке к секретарю Московской



Владимир Максимов и Андрей Дементьев в редакции журнала «Юность»

писательской организации, бывшему комиссару госбезопасности Виктору Ильину, где этот деятель обрабатывал каждого из них, пытаясь принудить покаяться и отказаться от подписи. Затем 20 мая было устроено показательное заседание секретариата, на котором не пожелавшим подличать писателям были выписаны наказания — в зависимости от тяжести вины того или иного из них. Репрессивные меры имели пять уровней тяжести — от «строгого выговора с предупреждением и занесением в личное дело» до простого «предупреждения». Первого удостоился литературовед и переводчик Лев Копелев, ранее уже исключённый за своё подписание из коммунистической партии; «выговоры с занесением» получили Василий Аксёнов, Борис Балтер, Владимир Войнович, Давид Самойлов, Лидия Чуковская и Аркадий Штейнберг; четырнадцати литераторам было «поставлено на вид», семеро — «строго предупреждены» и ещё восемь — «предупреждены» просто. На том же заседании поэту и барду Александру Галичу было «настоятельно не рекомендовано» исполнять публично свои «идейно порочные» песенки. А чтобы у Галича не возникло иллюзий, будто его решили просто «немножко поугатать», ему тоже выписали «строгое предупреждение», хотя и без занесения в «дело». Владимир Максимов оказался в том же списке, что и Александр Галич, — он также был «строго предупреждён».

К чему приводят такие «проработки», Максимов узнал довольно скоро — уже через три месяца, когда Кочетов выкинул его из состава редколлегии «Октябрь». Произошло это практически одновременно с вторжением советских войск

в Чехословакию, вызвавшим сильнейший политический кризис в Европе, следствием чего внутри Советского Союза стало дальнейшее «закручивание гаек». Воспользовавшись контекстом, Максимов сделал вид, что это не его выгнали, а он сам ушёл — и не абы как, а именно в знак протеста против подавления гусеницами советских танков «Пражской весны». Однако никаких более решительных действий предпринимать в тот момент не стал.

Дрейф справа налево

Следующий нелояльный поступок был совершён Владимиром Максимовым в ноябре 1969 года. Узнав о скандальном изгнании из Союза писателей Александра Солженицына, он уговорил нескольких известных литераторов нанести визит одному из высших совписовских начальников — секретарю СП СССР Константину Воронкову и потребовать у него объяснений. В числе этой делегации помимо самого Максимова на приём к Воронкову пришли Григорий Бакланов, Борис Можаев, Владимир Войнович, Владимир Тендряков. Разумеется, никаких положительных последствий для опального Солженицына этот писательский демарш не имел, но он стал свидетельством того, что Максимов обладает организаторскими способностями, позволяющими ему выступать застрельщиком публичных акций.

В последующие месяцы дрейф Максимова в сторону диссидентства ускорился и приобрёл более явственные очертания.

Когда в январе 1970 года после отбытия первого лагерного срока на свободу ненадолго вышел Владимир Буковский, Максимов оформил его своим литературным секретарём. Эта фиктивная служба позволяла Буковскому 24 часа в сутки заниматься антисоветской деятельностью без риска ареста и осуждения по обвинению в «злостном уклонении от общественно-полезного труда», то есть в пресловутом «тунеядстве».

Помощь Максимова Буковскому была воспринята совписовским начальством как заведомо враждебная выходка, которая не должна остаться без последствий. Первым звонком грядущей опалы стало известие о том, что в издательстве «Советская Россия» заторможена подготовка к печати новой максимовской книги — сборника повестей «Мы обживаем землю». Вторым — отказ издательства «Советский писатель» принять к публикации его роман «Семь дней творения». И это несмотря на то, что роман писался под предварительно заключённый договор, по которому Максиму было выплачено авансом 50% авторского гонорара. Издательское начальство объявило о невозможности принятия рукописи, мотивировав своё решение тем, что Максимов написал «заведомо непроходимое» произведение, которое после сдачи в Главлит будет гарантированно зарезано цензурой — по причине того, что в нём помимо отчётливых антисоветских аллюзий имеется также явная религиозная пропаганда; следовательно, издавать роман в том виде, в каком он автором представлен, в стране победившего атеизма невозможно. Также внимание Максимова обращалось на наличие в тексте элементов

графомании, что не к лицу автору, являющемуся членом Союза писателей. И что было бы гораздо лучше, если бы это объёмное сочинение было сокращено как минимум на четверть, а лучше — на треть. Это были не голословные обвинения, поскольку предъявленные начальством «Советского писателя» Максимову претензии (разумеется, за исключением пресловутой «идейной порочности» и «антисоветских аллюзий») имели под собой реальную основу.

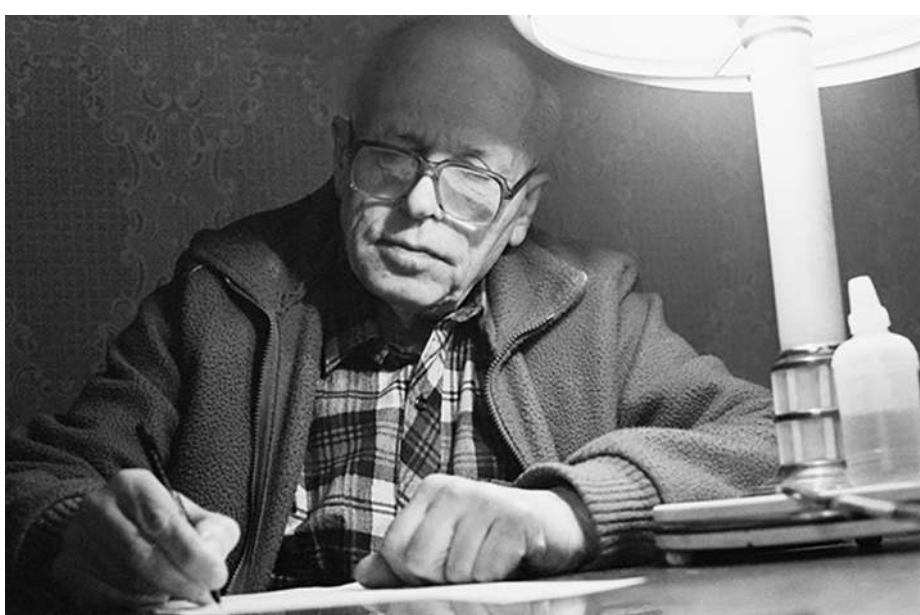
Обозлённый придирами, Максимов попытался предложить роман в другое издательство, затем в третье, в четвёртое — и везде получал однотипные отказы. Между тем рукопись, путешествуя по разным редакциям, не только обрастала всё большим количеством читателей, но и подвергалась несанкционированному автором копированию — и, как следствие, довольно скоро ушла сначала в Самиздат, а оттуда — за границу. И когда с Максимовым связались сотрудники издательства «Possev-Verlag», принадлежавшего эмигрантской антисоветской организации Народно-трудовой союз (НТС), и предложили выпустить его роман под их маркой, тот без долгих раздумий согласие на публикацию дал. Дал, прекрасно понимая, какими последствиями это для него обернётся.

Произошло всё это весной 1971 года, когда положение Владимира Максимова в качестве члена Союза советских писателей выглядело уже весьма двусмысленным. Никаких сколько-нибудь реальных перспектив для продолжения существования в мире подцензурной литературы у него больше не было. В глазах бывшего покровителя — Всеволода Кочетова — он выглядел явным предателем и ренегатом. Кроме того, к этому времени багаж его нелояльных по отношению к советскому режиму поступков достиг той самой «критической массы», которая постепенно начала перетягивать условную чашку весов, на которой лежал членский билет СП СССР. Как следствие, у Максимова не осталось никакого иного выбора кроме «смены вех». И он принялся менять их с тем же напором, с каким некогда оббивал пороги редакций журналов, не желавших публиковать его «идейно беспорочные» стихи.

Знакомство с Сахаровым

Важнейшим делом для всякого начинающего советского диссидента являлось установление нужных контактов — как с видными активистами движения, чьи имена уже широко известны на Западе, так и с теми, от чьего участия зависит оперативное распространение информации об их деятельности, то есть с иностранными корреспондентами. Корреспондентов в столице Советского Союза в те времена было вполне достаточно, что же касается активистов, то с некоторыми Максимов уже был знаком, а с прочими теперь старался знакомиться при любом подходящем для этого случае. И первым номером в составленном им списке необходимых знакомств стоял академик Андрей Сахаров.

О конкретных обстоятельствах знакомства писателя и академика известно очень мало. Владимир Максимов об этом ни устно, ни письменно в деталях никогда не рассказывал. Что же касается Андрея Сахарова, то в его посмертно из-



Академик Андрей Дмитриевич Сахаров

данных мемуарах о знакомстве с автором «Семи дней творения» сказано очень коротко — что произошло это в 1971 году, в то время, когда у него развивался роман с Еленой Боннэр, которая их и познакомила:

«Люся, в отличие от меня, ещё в детстве и юности была близка к писательскому миру. <...> В 60-е годы у неё возобновились отношения с поэтами и писателями. Осенью 1971 года она привела меня к Булату Окуджаве. <...> В ближайшие месяцы я впервые увидел и многих других поэтов и писателей. Среди них был Владимир Максимов, ставший потом нашим с Люсей большим и верным другом».

Там же Сахаров назвал Максимова человеком «бескомпромиссной внутренней честности, напряжённой мысли, прошедшим трудный жизненный и идейный путь». Из конкретных деталей знакомства ему запомнилась то, что писатель пребывал в тот день в нервном состоянии, очевидно, был чем-то сильно расстроен. Запомнилась и патетическая фраза, произнесённая Максимовым, по-видимому, в ходе обсуждения вопроса о целесообразности эмиграции деятелей культуры, не имеющих возможности самореализации в условиях тоталитарного режима: «Эту страну надо уносить с собой на подошвах сапог». Вот, собственно, и всё.

Познакомившись с Сахаровым, Максимов сделал всё возможное, чтобы это знакомство закрепить и развить, и в этом занятии весьма преуспел. К тому времени он уже давно стал относиться к окружающим дифференцированно и с теми, кто был ему по какой-либо причине важен и нужен, никаких оскорбительных выходов — вроде разговора как со стенкой — себе не позволял. Он научился

говорить складно, спокойно, без истерических ноток и выражений вроде «кровавые палачи» и «проклятые большевики», слова цедил веско, «со значением», то и дело вворачивал в речь «умные» выражения вроде «общечеловеческий гуманизм», и с каждым месяцем производил на своих новых знакомых и в особенности на иностранных корреспондентов всё более и более благоприятное впечатление. Знакомые из прежней жизни — по кочетовскому «Октябрю», — наблюдая трансформацию Максимова из совписов в диссиденты, только диву давались: вот ведь до чего может довести советского человека лакейство и низкопоклонство перед презренным капиталистическим Западом...

«Новый Солженицын»

Примерно в то же время, когда состоялось знакомство Максимова с Сахаровым, энтэсовское издательство «Possev-Verlag» выпустило «Семь дней творчества». Издание было приурочено к ежегодной Международной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне и сопровождалось агрессивной рекламной кампанией. Ушлые энтэсовцы рекламировали Максимова как «нового Солженицына», утверждая, что его книга ни в чём не уступает «Кругу первому» и «Раковому корпусу», а по ряду параметров их и превосходит. Тем самым потенциальным приобретателям копирайта на перевод явно давалось понять, что в некоем неопределённом, но всё же не столь далёком будущем Максимов также вполне может претендовать на получение Нобелевской премии по литературе. Как следствие, доверчивые западные издатели дружно клюнули на закинутую «трудовиками» (как иронически именовали энтэсовцев в Русском Зарубежье те, кто их не особенно жаловал) блесну и полезли за пухлыми бумажниками. Много лет спустя, на склоне своей долгой извилистой жизни главный энтэсовец Евгений Романов (Островский), вспоминая дела давно минувших дней, рассказывал:

«Мы напечатали его (роман “Семь дней творчества”. — П. М.) <...> и чрезвычайно выгодно, за очень большие деньги, продали в иностранные издательства: немецкое, французское, итальянское и т. д. Он был переведён на десятки языков».

О том, что произошло между продажей и выходом иноязычных переводов максимовского романа, Евгений Романович тактично умолчал. Произошло же именно то, что и должно было произойти: как только иностранные издатели с помощью своих переводчиков поняли, какого «кота в мешке» всучил им господин Романов под видом «второго Солженицына», они схватились за головы, но было уже поздно. Пришлось роман Максимова переводить и издавать, напирая в собственной рекламе на то, что его автор нашёл в себе силы и мужество идейно порвать с советским режимом и, хотя и является по происхождению выходцем из той среды, на которую всегда опиралась коммунистическая тирания как на свою основную базу, его прозрение относительно сущности коммунизма поможет раскрыть глаза многим, кто прочитает его книгу... ну и так далее. Чего не сделаешь для того, чтобы хотя бы частично вернуть выброшенные на ветер деньги.

Что же касается самой аферы, так блестяще проведённой «трудовиками», то такие шутки в цивилизованных странах иногда, конечно, случаются. Но проверить их можно только один раз. Реальным следствием данной для Евгения Романова и его бизнес-компаньонов по коммерческому товариществу НТС стало то, что отныне ни одно статусное западное издательство старалось не иметь с эннээсовским «Посевом» никаких дел, предпочитая публиковать книги советских писателей-диссидентов без участия такого сомнительного посредника.

Процесс исключения

Выход книги советского писателя, не изданной в СССР, в зарубежном эмигрантском издательстве — на привычной писательскому начальству терминологии означал ЧП, чрезвычайное происшествие. Которое требовало детального разбора и «оргвыводов». Владимир Максимов был вызван к оргсекретарю Виктору Ильину для дачи объяснений. Зная, с кем ему придётся разбираться, Ильин заранее чувствовал, что ничем хорошим разговор с Максимовым не кончится. Именно так и произошло. Максимов занял агрессивную позицию и, отвечая на вопрос Ильина, как так произошло, что его роман был опубликован в антисоветском издательстве, принадлежащим антисоветской организации, заявил, что произошло это по причине того, что ни одно советское издательство публиковать его роман не захотело. И уж кому-кому, а Ильину это должно быть прекрасно известно, так что нечего тут комедию ломать и задавать глупые вопросы. Во всём прочем линия обороны Максимова была предельно проста: он рукопись на Запад не переправлял, каким образом и с чьей помощью она туда попала, ему неизвестно, книга вышла без его ведома (о своём согласии на публикацию он, разумеется, сознательно умолчал), но самый этот факт он не может не приветствовать, а посему никаких протестов писать и публиковать не собирается. Напротив — искренне надеется на то, что теперь-то уж его многострадальная книга наконец будет издана в Советском Союзе, чтобы тем самым наглядно продемонстрировать всему миру, что у него на родине нет цензуры — как это и записано в советской конституции. Поняв, что Максимов над ним цинично издевается, Ильин махнул рукой, и разговор был прекращён.

Ближайшей перспективой для Максимова стало исключение из Союза писателей — «за деятельность, не совместимую с высоким званием». Однако по какой-то причине этот процесс был отложен больше чем на год. За это время Максимов завершил работу над вторым романом, получившим название «Карантин», и — на сей раз уже демонстративно, ни от кого этого не скрывая — переправил рукопись в эннээсовское издательство и стал ждать публикации. И только после этого терпение писательского начальства наконец иссякло.

В начале марта 1973 года Максимова стало известно о том, что на состоявшемся несколько дней назад заседании партийного актива Московской писательской организации, посвящённом усилению «творческой дисциплины», выступил высокопоставленный сотрудник Пятого (идеологического) управления

КГБ Иван Абрамов, который потребовал от писательского начальства немедленно «принять меры в отношении распоясавшегося антисоветчика Максимова». В переводе с советского бюрократического новояза на русский язык это означало, что КГБ требует его исключения из Союза — с тем, чтобы, как это сформулировал сам Максимов в обращении к общественности от 7 марта 1973 года, облегчить карательным органам применение к нему «процессуальных санкций». В том же обращении Максимов выразил уверенность в том, что «джинн, которого эти стражи идейной чистоты так жаждут выпустить из бутылки разлива тридцать седьмого года, прежде всего погребёт их самих».

Вскоре по окололитературным кругам поползли слухи, что вконец обнаглевшего Максимова будут не просто исключать — против него готовится показательная акция, нечто вроде того, что происходило пятнадцать лет назад, 31 октября 1958 года, когда на специально собранном заседании по заранее составленному плану коллеги по перу поносили изданный на Западе роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и травили его автора, только что удостоенного за эту книгу Нобелевской премии по литературе. Вслед за тем из начальственных кабинетов стала просачиваться информация, подтверждающая, что данные слухи имеют под собой реальную основу.

Узнав о готовящейся «показательной экзекуции», Максимов решил нанести упреждающий удар. 15 мая 1973 года он направил совписовскому начальству Открытое письмо, в котором информировал:

«Я прекрасно осознаю, что меня ждёт после исключения из Союза. <...> я покину организацию, в которой состоял без малого десять лет, с чувством горечи и потери. В ней — в этой организации — числились и числятся люди, у которых я учился жить и работать. Но рано или поздно каждому из них всё-таки придётся сделать этот тяжкий выбор. Союз писателей, а в особенности его Московское отделение, постепенно становится безраздельной вотчиной мелких политических мародёров, разъездных литературных торгашей, всех этих медниковых, пиларов, евшушенок — мелких бесов духовного паразитизма».

«Мелкие бесы» и «духовные гробовщики» в долгу не остались. На заседании секретариата Московского отделения Союза писателей РСФСР, состоявшемся десять дней спустя, 25 мая, максимовский роман был подвергнут разносной критике. Сам Максимов на «экзекуцию» пришёл — имея единственной целью устроить из этого мероприятия политический скандал, который станет ему же самому на руку. В соответствии с данной установкой вёл он себя дерзко, никаких обвинений не признал, заявил, что исключения из Союза писателей не боится, и, высказав по адресу оппонентов всё, что о них думает, ушёл, не забыв на прощанье громко хлопнуть дверью.

Последствия не заставили себя долго ждать. Месяц спустя, 26 июня 1973 года секретариат Московской писательской организации принял решение об исключении Владимира Максимова из числа её членов. 17 сентября это решение было

утверждено вышестоящей инстанцией — Секретариатом СП РСФСР. С этого дня бывший советский писатель Максимов превратился в рядового советского безработного, нуждающегося в обязательном трудоустройстве — во избежание возникновения проблем в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни».

В ожидании ответа

Однако становиться в сорок два года вновь каменщиком или чернорабочим на стройке Максимов не собирался. И вместо того чтобы озаботиться проблемой своего трудоустройства, обратился в Кремль с просьбой позволить ему покинуть Советский Союз. Просьба была подкреплена утверждением, что ни малейшей пользы в деле построения «развитого социализма» советскому режиму от него, Максимова, ждать не приходится, тогда как вреда режиму, продолжая оставаться на подконтрольной ему территории, он принести может более чем достаточно. Поэтому для режима будет гораздо лучше, если он, Максимов, окажется по ту сторону советской границы.

В ожидании ответа автор «Семи дней творения» развил бурную диссидентскую деятельность. Он чуть ли не еженедельно давал интервью иностранным корреспондентам и периодически выступал с разнообразными заявлениями, касающимися важнейших вопросов как внутрисоветской, так и мировой политики.

Посоветовавшись, руководство правящей партии приняло решение ходатайство антисоветчика Максимова удовлетворить и позволить ему убраться туда, куда ему так хочется — на загнивающий капиталистический Запад. О том, что отъезду в эмиграцию Максимова будет предшествовать принудительная депортация из СССР другого бывшего члена Союза советских писателей, которой будет суждено прогреметь огромным скандалом на весь мир, в тот момент никто из простых смертных ещё не догадывался.

Встречный бой

В декабре 1973 года Андрей Сахаров лёг в клинику Академии наук СССР для прохождения кардиологического обследования. Его больничная палата сразу же превратилась в своеобразный конференц-зал, куда потоком шли московские и иногородние диссиденты — справиться о здоровье, выразить моральную поддержку и обсудить последние новости о том, что происходит в стране и в мире. В числе посетителей были и литераторы — Сахарова в клинике навещали Александр Галич, Лев Копелев, Виктор Некрасов, Константин Богатырёв и другие. Был в их числе и Владимир Максимов. Последний запомнился академику тем, что приходил несколько раз, был одет в отличный клетчатый костюм иностранного производства и приносил различные дефицитные продукты — в частности,

какую-то диковинную копчёную рыбу, совершенно непредставимую в ассортименте советского гастронома, даже столичного.

К тому времени Максимов уже давно стал в семье Сахарова своим человеком. Статусом этим он весьма дорожил и подчёркивал его при каждом удобном случае, одновременно расточая моральному лидеру советского диссидентского движения комплименты — то есть занимался тем, что в религиозной среде принято именовать «курением фимиама». Так, в Открытом письме западногерманскому писателю Генриху Бёллиу, датированном 4 июля 1973 года, Максимов назвал Сахарова «образцом нравственной бдительности» и «честью и совестью современной России» и утверждал, что выступления опального академика «по острейшим вопросам сегодняшнего мира обходятся ему куда дороже, чем любому из его западных коллег». Обращаясь к немецкому коллеге по перу, пытавшемуся заступаться за преследуемых в тоталитарных странах писателей и политиков исходя из исповедуемых им левацких убеждений, Максимов растолковывал Бёллиу, словно умудрённый опытом отец семейства — непутёвому ребёнку:

«Сахаров не выжидает “никовых” моментов текущего дня, когда сказанное им слово принесёт ему максимум политических дивидендов. Сахарова не заботит “инфляция” его выступлений. Сахаров совершает поступки и говорит, движимый одной-единственной указкой — указкой своего большого сердца. И слово его не становится от этого менее весомым и действенным. Именно поэтому тучи над ним в последнее время заметно сгущаются. Спасти Андрея Сахарова от грозящих ему бед — наша общая с вами задача. Когда непоправимое случится, будет уже поздно махать, как у нас говорят, кулаками.»

Звериное чутьё, предупреждавшее Максимова о приближении опасности, не подвело и на этот раз. Два с половиной месяца спустя, в конце августа 1973 года, в Советском Союзе была развёрнута массированная пропагандистская кампания по шельмованию Андрея Сахарова и Александра Солженицына. Непосредственным поводом к её началу послужил факт сначала выявления, а затем и захвата гэбистами одной из копий рукописи Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Солженицын не стремился публиковать это сочинение, приберегая его для момента, который станет для этого максимально благоприятным, и предпринимал всё возможное для того, чтобы о самом факте его существования знало как можно меньше людей. Но от провалов не застрахован ни один, даже самый осторожный, подпольщик.

Ознакомившись с содержанием выкраденного тайной полицией манускрипта, в Кремле сразу же осознали — какую страшную угрозу представляет эта книга для так называемого «всемирного коммунистического движения», если она будет издана. Воспрепятствовать публикации «Архипелага» на Западе они, конечно же, не могли, однако постарались нанести по «литературному власовцу» (как отныне стали именовать Солженицына разные мелкие сошки Агитпропа) удар сокрушительной силы, чтобы максимально его дискредитировать хотя бы в глазах

соотечественников. Одновременно решено было расправиться и с Сахаровым, чьи критические выступления в иностранной печати с каждым месяцем приобретали всё более резкий характер и к чьему голосу там прислушивалось всё больше и больше тех, кого в Кремле с неизменным цинизмом именовали «нашими западными партнёрами». Параллельно с развязанной газетной травлей против Солженицына и Сахарова в Москве начался судебный процесс над Петром Якиром и Виктором Красиным, на котором эти диссиденты-ренегаты всюду каялись в якобы совершённых ими преступлениях против советского государственного и общественного строя и клеветали на бывших соратников по диссидентскому движению, которые ещё находились на свободе.

Ответные действия не заставили себя долго ждать. На пресс-конференции для иностранных корреспондентов, собранной у него на квартире 21 августа 1973 года по случаю пятой годовщины вторжения советских войск в Чехословакию, Андрей Сахаров назвал Советский Союз «одним огромным концентрационным лагерем», чем привёл в дикую ярость Брежнева и компанию. В свою очередь, Александр Солженицын выпустил 5 сентября заявление о захвате госбезопасностью рукописи «Архипелага ГУЛАГ» и отдал распоряжение своему заграничному издателю Никите Струве печатать книгу как можно быстрее. Одновременно он написал обличительный памфлет «Письмо вождям Советского Союза», в котором всячески клеймил коммунистов и высказывал всё, что он о них думает. 8 сентября Сахаров провёл ещё одну пресс-конференцию, на которой выступил с разоблачениями лжи советской пропаганды — что в СССР, дескать, не применяют психиатрию для подавления политического инакомыслия; также с использованием конкретных фактов Сахаров опроверг аналогичные клеветнические утверждения ренегатов Якира и Красина, сделанные теми во время недавно закончившегося их судебного процесса. На следующий день, 9 сентября в интервью нидерландскому радио Сахаров призвал Международный Красный Крест прислать в СССР инспекционную комиссию для обследования советских психотюрем на предмет выявления среди находящихся в них узников психически здоровых людей.

Неизвестно, к какому развитию привела бы эта конфронтация (которую Солженицын впоследствии очень точно назвал «встречным боем») в ближайшем будущем, если бы не произошли события, вынудившие Кремль переключить внимание с внутривнутриполитических событий на внешнеполитические.

Одиннадцатого сентября 1973 года в далёкой от СССР южноамериканской стране Чили произошёл военный переворот. Президент-социалист Сальвадор Альенде, испытывавший явные симпатии к советскому режиму, отказался принять ультиматум главарей путчистов — сложить с себя властные полномочия и убраться из страны, пока живой, — и застрелился в собственном дворце, когда те брали его штурмом. Пришедшая к власти военная хунта во главе с генерал-капитаном Аугусто Пиночетом развернула массовые репрессии против коммунистов, социалистов и вообще всех левых, — и из Кремля Агитпропу была отдана

директива прекратить травить «антисоветчиков» и сосредоточиться на обличении «кровавой хунты Пиночета», как отныне стали именовать в Москве чилийский диктаторский режим. Сахарова и Солженицына было позволено временно оставить в покое, равно как и прочих диссидентов — успех с «делом Якира — Красина» создал в Кремле иллюзию полной и окончательной над ними победы.

Депортация и эмиграция

Разрешение на эмиграцию Владимир Максимов получил днём 12 февраля 1974 года, когда пришёл по вызову в районный ОВИР. Там же ему был выдан советский заграничный паспорт сроком действия в один год. Согласно достигнутой договорённости, уезжал автор «Семи дней творения» из Москвы в Париж не навсегда, а именно на один этот год — читать лекции во французских университетах. Разумеется, обе договаривающиеся стороны понимали, что всё это есть чистейшая фикция и обратно Максимов не вернётся никогда.

Получив паспорт и выездную визу, Максимов направился к Сахарову, чтобы сообщить ему о том, что его судьба решена. В тот момент, когда он находился в квартире Сахарова, в доме на улице Чкалова, туда позвонила Наталья Светлова, жена Солженицына, и сообщила, что только что вломившаяся к ним в квартиру бригада гэбистов схватила её мужа и увезла его в неизвестном направлении. Формальным поводом для вторжения послужил демонстративный отказ Солженицына являться в прокуратуру по повестке, поскольку он уже давно опасался ареста и не стремился идти в тюрьму своими ногами. Сахаров, Боннэр и Максимов немедленно отправились к Светловой на улицу Горького — узнать подробности ареста её мужа и выразить моральную поддержку.

Утром следующего дня, 13 февраля, когда о судьбе Солженицына ещё ничего не было известно, Сахаров, Боннэр, Максимов и ещё шестеро собравшихся в квартире Сахарова диссидентов составили обращение к властям с требованием немедленно освободить лауреата Нобелевской премии и передали его иностранным корреспондентам. О том, что арестованному Солженицыну будет сначала предъявлено вздорное обвинение в «измене родине», а затем он будет лишён советского гражданства и сразу же депортирован из СССР, в тот момент никому из них не могло прийти в голову. И Максимов, и Сахаров, и его жена полагали, что советский режим просто начинает новую кампанию репрессий и в целях максимально возможного устрашения диссидентов первым арестовывает наиболее известного из них. Тогда эти опасения не подтвердились, что, однако же, никоим образом не свидетельствовало о том, что диссидентам будет позволено беспрепятственно заниматься их «подрывной деятельностью».

Альянс со Шпрингером

Громовые разряды скандала по поводу высылки из СССР Александра Солженицына ещё сотрясали мировой эфир, когда 1 марта 1974 года в парижском

аэропорту Орли приземлился следовавший рейсом из Москвы самолёт, на борту которого находились Владимир Максимов и его жена Татьяна Полторацкая, в тот момент беременная их старшей дочерью Натальей. Там же, в Париже, уже находилась младшая сестра Максимова — Екатерина Самсонова (она же — Брейтбарт-Самсонова), покинувшая СССР раньше своего брата и безо всяких политических скандалов — в качестве жены мужчины еврейской национальности, репатриировавшегося в Израиль.

Эмиграция для каждого человека — важнейшее событие в жизни. Перемещение из привычного образа жизни в непривычный, тем более в иную языковую среду — само по себе серьёзнейшее испытание. Что уж говорить о том, как это сказывается на человеке, попадающем из тоталитарного общества в демократическое. Владимир Буковский, в декабре 1976 года проделавший этот путь менее чем за двое суток, когда, забранный гэбистами из камеры во Владимирской тюрьме, был доставлен «способом Солженицына» в швейцарский город Цюрих, сравнил такое перемещение с приступом кессонной болезни, накрывающим слишком быстро поднимаемого с большой глубины на поверхность водолаза. Аллюзия очень точная, тем более если принять во внимание, что Буковский покидал Советский Союз не по своей воле, а стал объектом сделки между правительствами СССР и США, взявшими на себя роль посредника в деле обмена политических заключённых: Владимира Буковского поменяли на руководителя коммунистической партии Чили Луиса Корвалана, посаженного в тюрьму по приказу «кровавого диктатора» Пиночета.

Обстоятельства отъезда в эмиграцию Владимира Максимова существенно отличались от столь экстремальных в лучшую сторону. Важнейшим из них было то, что Максимов совершенно точно знал — чем он будет заниматься, оказавшись за пределами СССР. У него была мечта — издавать собственный журнал, который станет трибуной для высказывания всех политэмигрантов из стран так называемого «социалистического лагеря», без различия национальностей, но имеющих сходные политические убеждения, а именно — радикальный антикоммунизм. И он намеревался приложить максимум усилий для того, чтобы эта мечта была реализована, причём в самом ближайшем будущем.

Вопреки множеству известных русских народных поговорок вроде «хотеть дешевле, чем иметь» и «съест-то он съест, да кто ж ему даст» — мечта Владимира Максимова о своём журнале воплотилась в реальность с поистине волшебной скоростью. Максимуму неимоверно повезло — он оказался в нужное время в нужном месте. Вскоре после того, как он прибыл в столицу Франции, его пригласили выступить на проходившей в Западном Берлине конференции европейских политических деятелей консервативной ориентации. Максимов предложение принял и, приехав в Западный Берлин, произнёс патетическую речь, в которой обрушился с агрессивными нападками на европейских политиков левацкой ориентации, которые под видом осуществления так называемой «реально политики» содействуют усилению позиций советского тоталитарного режима

К шестидесятилетию со дня рождения



Андрей Дмитриевич Сахаров

Журнал «Континент»

и, прикрываясь демагогическими лозунгами о необходимости «мирного существования» с Советским Союзом, подрывают единство «свободного мира» перед лицом всемирной коммунистической экспансии.

Страстная речь Владимира Максимова привлекла внимание крупнейшего западногерманского медийного магната Акселя Шпрингера, основателя и владельца издательства «Axel Springer Verlag». Этот радикальный антикоммунист, убеждённый противник цензуры и поборник свободы распространения информации «поверх барьеров и границ» почувствовал, что нашёл в лице советского писателя-диссидента политического единомышленника — и, будучи человеком, не чуждым приносящей моральную выгоду филантропии, протянул ему свою крепкую финансовую руку.

Со стороны альянс между эмигрантским писателем и немецким издателем выглядел так, будто Максимова удалось выиграть миллион по лотерейному билету. Фактически так оно и было. В Кремле известие о том, что «злобному антисоветчику» Максимова удалось найти средства для издания журнала, было воспринято с нескрываемым раздражением. Акселя Шпрингера там ненавидели люто, именуя всеми возможными обидными прозвищами — от «короля жёлтой бульварной прессы» до «пособника неонацизма и реваншизма», и не забывая всякий раз намекать на то, что именно из-за таких, как Шпрингер, западное общественное мнение пребывает в заблуждении относительно исключительно миролюбивой сущности Советского Союза и его восточноевропейских союзников. Шпрингер же не обращал развязанную в отношении его кампанию дезинформации ни малейшего внимания, продолжая делать своё дело.

От момента заключения соглашения между писателем и издателем до его воплощения в жизнь прошло не более пяти месяцев. Первый номер максимовского журнала, получившего название «Континент», вышел в октябре 1974 года. Журнал был сделан толстым — в прямом смысле этого слова и небольшого формата

и, прикрываясь демагогическими лозунгами о необходимости «мирного существования» с Советским Союзом, подрывают единство «свободного мира» перед лицом всемирной коммунистической экспансии.

(чтобы удобнее было прятать под одеждой, перевоза через советскую таможню). Периодичность выхода была установлена ежеквартальная, тиражи печатались в энтээсовской типографии «Polyglott Drück» во Франкфурте-на-Майне, авторам выплачивались гонорары, невиданные ни в каких иных эмигрантских русскоязычных изданиях — 30 западногерманских марок за страницу текста. Все производственные расходы, включая вполне приличные оклады штатным сотрудникам редакции, взял на себя Аксель Шпрингер.

Максимов поселился в одном из наиболее дорогих для проживания районов Парижа — в Шестнадцатом округе, на улице Лористон, вблизи от Триумфальной арки. Там, в доме № 11-бис, он арендовал две роскошные четырёхкомнатные квартиры — одну на втором этаже (где поселилось его семейство), другую на четвёртом (там расположилась редакция журнала). Завистники и недоброжелатели, коих у Максимова за годы пребывания во Франции в среде Русского Зарубежья образовалось более чем достаточно, упоминая о месте его проживания, с явным сарказмом подчёркивали, что поселился главный редактор «Континента» на улице, где во время нацистской оккупации Парижа располагалось Французское управление гестапо — тем самым намекая на то, что хороший человек, дескать, в таком месте жить не станет. Максимов подобные инсинуации игнорировал; что же до своего соседства с местом, в котором три десятилетия назад находилась штаб-квартира коллаборационистской тайной полиции, то, упоминая об этом, никогда не забывал подчеркнуть, что на дверях парижского гестапо висело объявление следующего содержания: «Господа! Анонимные доносы не принимаются» — тем самым также намекая, что его мало заботят выпады своих врагов.

«Парижский обком» действует

Руководство журналом «Континент» выявило ещё одну черту личности Владимира Максимова, о которой прежде никто из знавших его не мог и подозревать. Насколько автор «Семи дней творения» и «Карантина» был посредственным литератором-беллетристом, вызывавшим насмешки у более талантливых коллег по перу, настолько же он оказался прекрасным публицистом и профессиональным редактором.

Публицистика Максимова, печатавшаяся почти в каждом номере «Континента» под рубрикой «Колонка редактора», была посвящена различным актуальным темам современности, причём чаще всего не литературе, а политике. В этих колонках главный редактор журнала «жёлт глаголом сердца людей» — в самом прямом смысле этого поэтического выражения. По большей части объектами приложения максимовского публицистического таланта становились его явные и тайные враги. Доставалось всем — от главарей советского режима до западных левых и всевозможных «друзей Советского Союза», которых Максимов всех скопом, без разбора чинов, должностей и библиографий, считал агентами Кремля и Лубянки, то есть теми «полезными идиотами», которых Владимир Ульянов-

Ленин предлагал использовать «втёмную» для захвата большевиками всего мира. При этом выражений Максимов не выбирал, и единственным, что несколько ограничивало его публицистический запал, была невозможность использования на печатных страницах выражений из разряда инвективной лексики.

Что же касается редакторства, то в этом плане Максимов действовал, исходя из простейшего принципа — публиковать всё, что является хотя бы мало-мальски талантливым, невзирая на личные симпатии и антипатии. Это правило, однако, не распространялось на ситуации, когда дело касалось его персональных врагов — таких, например, как Андрей Синявский (Абрам Терц) и его жена, Мария Розанова-Кругликова-Синявская, которые в первый период издания «Континента» имели к журналу самое прямое отношение, но затем вследствие различных обстоятельств превратились в злейших врагов Максимова.

Не жаловал Максимов и новоявленных эмигрантов, оказавшихся на Западе уже после него самого и также имевших отношение к литературе. Московский андеграундный поэт Дмитрий Савицкий, попавший в Париж в июле 1978 года и вскоре перешедший на положение невозвращенца, утверждал, что первая встреча с Владимиром Емельяновичем запала ему в память навсегда:

«Я притащился туда (в редакцию “Континента”. — П. М.) с пачкой стихов, вывезенных приятелем из Москвы в дипломатическом чемодане. Даже не взглянув на них, господин Максимов уставился на меня с видом энтомолога, разглядывающего редкую бабочку. Потом снял очки, протёр их, по-видимому для того, чтобы убедиться, что я ему не снюсь, и воскликнул: “Ну, а вы-то! Вы-то — для чего сюда приехали?!” — “Жить”, — сказал я. Забрал стишки и ушёл».

Эти и им подобные истории привели к тому, что максимовские недоброжелатели как в «Русском Париже», так и по другую сторону Атлантического океана, куда регулярно доходили сведения о том, что происходит на улице Лористон и в её окрестностях, стали саркастически именовать редакцию «Континента» — «Парижским обкомом партии», а самого главного редактора — «секретарём Парижского обкома».

Андрей Сахаров, наблюдавший за деятельностью своего друга из Москвы, воспринимал все доходящие из Парижа слухи и сплетни о конфликтах Максимова с разными политэмигрантами весьма болезненно. Совершенно справедливо считая, что мелочные дразги и склоки между отдельными яркими личностями эмиграции в первую очередь играют на руку Кремлю и Лубянке, он пытался оказать на Максимова воздействие, сообщая тому различными путями о своём крайне отрицательном отношении к его несдержанности и стремлению играть роль «секретаря обкома». В то же время, оценивая художественный уровень максимовского журнала, Сахаров характеризовал «Континент» как «прекрасный (при множестве недостатков, срывов, крайностей и ляпсусов)» и утверждал, что журнал является жизненно важным для всех диссидентов.

Триумф и ссылка

Одной из важнейших дат в истории советского диссидентского движения стало 9 октября 1975 года. В этот день в столице Норвегии Осло было объявлено о том, что Нобелевская премия мира за 1975 год присуждена гражданину СССР, академику Андрею Сахарову. В Советском Союзе и за его пределами эта новость вызвала реакцию диаметрально противоположную — диссидентские и политэмигрантские круги охватило безудержное ликование, Кремль затрясся от дикой злобы, обусловленной тем, что у него нет возможности ни скрыть самый этот факт от советско-подданных, ни заставить Нобелевский комитет его решение отменить. Пришлось действовать привычным способом — приказать Агитпропу вылить на голову опального академика очередной ушат помоев, а «друзьям Советского Союза» на Западе развязать кампанию дезинформации, чтобы убедить как можно больше местных обывателей в том, что Сахаров — реакционер и враг «разрядки международной напряжённости».

Находившийся в Париже Максимов, разумеется, также не мог остаться в стороне от данного события и не использовать его в своей личной борьбе со всемирным коммунистическим заговором. В очередной «Колонке редактора», опубликованной в ближайшем номере «Континента» он писал:

«Что греха таить, эта премия присуждалась в последние годы за весьма сомнительные достижения в деле смягчения международной напряжённости. <...>

Андрей Сахаров является пока единственным лауреатом, ведущим свою борьбу в условиях действительно смертельной опасности не только для себя, но и для своих близких. Думается, последний бой против мирового тоталитаризма только начинается и явление новых героев во всеобщей борьбе за идеалы свободы и демократии не заставит себя ждать».

Предположение, высказанное Максимовым в этой статье, — что академик Сахаров в тот момент являлся единственным лауреатом Нобелевской премии мира, вынужденным действовать в условиях смертельной опасности не только лично для себя, но также и для своих близких, — не являлось таким уж сильным преувеличением. Ощутить на себе всю полноту давления карательных структур советского режима Сахарову привелось пять лет спустя — после того как он был сначала схвачен гэбистами прямо на московской улице, а затем по решению Политбюро ЦК КПСС лишён всех ранее полученных званий (кроме звания академика) и государственных наград и отправлен в бессрочную ссылку в Горький (тогдашнее названием Нижнего Новгорода). Это произошло 22 января 1980 года, месяц спустя после того как руководство Советского Союза развязало последнюю в истории этого государства военную авантюру, вошедшую в его историю под названием «Афганская война». Несколько ещё остававшихся в тот момент на свободе диссидентов, избежавших ареста или выдавливания в эмиграцию, выпустили заявление с решительным осуждением этой преступной акции. В их числе был и Андрей Сахаров. Данный поступок академика и стал той по-

следней каплей, которая переполнила чашу терпения Брежнева, Андропова и компании.

Арест и последующая ссылка Сахарова в закрытый для посещения иностранцами город вызвали бурю негодования в «свободном мире». Точно так же отреагировала на это событие и политически активная часть Русского Зарубежья. В очередной «Колонке редактора» Владимир Максимов писал:

«Само возникновение “феномена Сахарова” внутри наиболее жестокой тоталитарной системы явилось для окружающих, так сказать, радиоактивным чудом, повседневно очищающим удушливую атмосферу страха и ненависти, вот уже более шестидесяти лет царящую в нашей стране».

Заключение

Руководимый Владимиром Максимовым журнал «Континент» неизменно оказывал академику Андрею Сахарову всю возможную информационную помощь и моральную поддержку на протяжении без малого семи лет пребывания того в условиях политической ссылки, вплоть до его освобождения и возвращения в Москву в декабре 1986 года.

Именно в этот момент в Советском Союзе началась горбачёвская Перестройка — последняя, отчаянная попытка кремлёвского режима спасти от гибели агонизирующую коммунистическую империю, — прямым следствием которой ровно пять лет спустя стало исчезновение с политической карты мира государства с таким названием. Что невозможно не расценивать как величайшее геополитическое благо в истории человеческой цивилизации XX века — что бы там ни утверждали отдельные плохо образованные и отягощённые преступной наследственностью апологеты социализма с концлагерным лицом.

Ныне, в дни, когда со дня рождения Андрея Сахарова (1921–1989) исполняется 100 лет, невозможно не вспомнить об этом во всех смыслах выдающемся человеке и гражданине, чьи личные заслуги в деле освобождения России от преступного коммунистического режима не имеют себе равных.

Что же касается Владимира Максимова (Льва Самсонова; 1930–1995), то жизнь и деятельность этого незаурядного человека ещё ждёт своего заинтересованного и непредвзятого исследователя.